

84(2=411.2)6-4
П20
СА-398199

Михаил Патраков

Новые рассказы
о необычайном

Роман



СА-398199

Михаил Патраков

Новые рассказы о необычайном

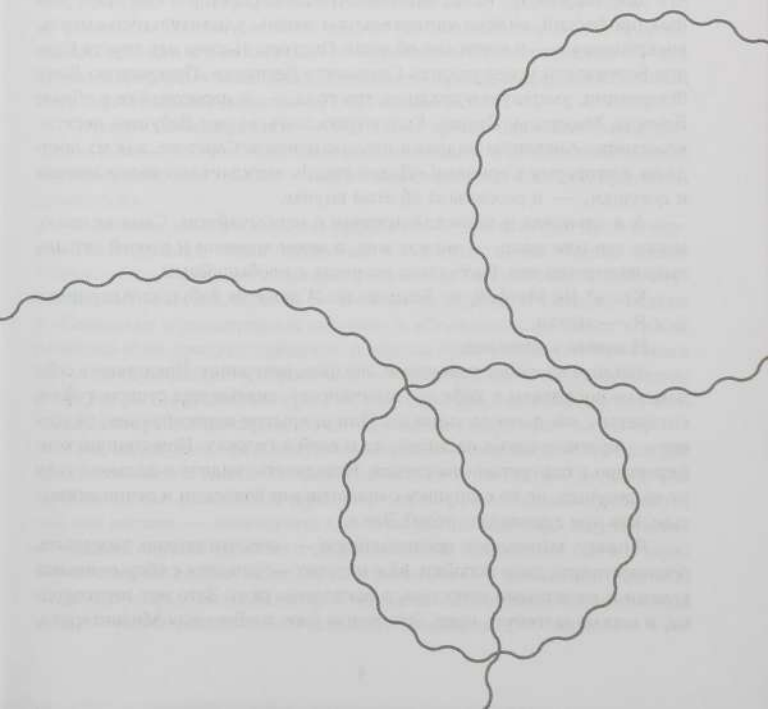
Роман



Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

Музей уникальных вещей
Санкт-Петербург
2023

Часть первая
В ПРЕДДВЕРИИ НЕОБЫЧАЙНОГО



Часть первая В ПРЕДДВЕРИИ НЕОБЫЧАЙНОГО

Я, НИКТО

Каждому выпадает что-то одно.

Две тысячи лет назад один налоговый инспектор и еще трое, разных профессий, видели удивительную жизнь, удивительную смерть, воскрешение — и написали об этом. Полторы тысячи лет спустя Сандро Боттичелли успел увидеть Симонетту Веспуччи, Прекрасную Даму Флоренции, умершую в двадцать три года, — и нарисовал ее в образе Венеры, Мадонны, Весны. Еще спустя пятьсот лет бабушка десятиклассницы Ангелины видела в революционном Саратове, как из поезда на платформу с криками «Долой стыд!» выскакивают голые юноши и девушки, — и рассказала об этом внучке.

А я слышала и записала истории о необычайном. Сама не знаю, много это или мало — но вот мне, в моем времени и в моей стране, выпало именно это. Рассказы о встречах с необычайным.

Кто я? Не Матфей, не Боттичелли. И даже не бабушка Ангелины. Я — никто.

И имени у меня нет.

Зайдите на любое совещание, лекцию, вечеринку. Представьте себе дамские посиделки в кафе — шампанское, снятые под столом туфли, сигареты с ободком от помады. Или закрытое партсоборание, педсовет — красные пятна на лицах, яд и елей в голосах. Или сонную конференцию с портретами на стенах. Вглядитесь: видите в дальнем углу не то девушку, не то старушку с невнятными волосами и вечно открытым, как при аденоидах, ртом? Это я.

Я пишу; записываю; протоколирую — все, что угодно: заседания, психотренинги, даже попойки. Мое царство — это стол с обгрызенными углами и железными ножками, в последнем ряду. Зато нет перегородки, и можно вытянуть ноги. Это потом уже, в «Веселых Мизингерах»,

я научилась работать как угодно — скрестив ноги по-турецки, задрав колени к носу, сидя на корточках. В «Мизингерах» было в самом деле весело. Но я отвлеклась. Я часто отвлекаюсь.

Моя страна — это тетрадь в четкую клеточку (ненавижу клеточку размытую, а также чистые листы А4 и тетради в косую линейку, хотя скорому письму начинала учиться именно с них). Мой язык — это каляки-маляки, детские каракули, полноразмерный слэш и овал левого оборота. Мое сознание — там, где шарик соприкасается с бумагой, скользит, отрывается, снова скользит-летит (лишь бы не застревал и не царапал, это зависит и от бумаги, и от шарика. Кстати, всегда предпочитала хорошие шариковые, настоящие «Биро», а не перьевые и не гелевые, что бы там ни говорили учебники по стенографии. А специальный карандаш — «острый, тонкий и медленно стирающийся» — вообще терпеть не могу).

Вот, кстати, слово и прозвучало; ух, ненавижу! Куда бы ни пришла, сразу говорю: стенографисткой не называть, а то припишу такое, что не отмоетесь. Плохое слово; не мое; от него пахнет старыми бумагами, пылью, желтым клеем с соской на бутылочке. Стенографистки — это те, кто в тридцатые записывал доклады и допросы; недаром их главный опус с фашистским названием ГЕСС вышел в 33-м.

И еще стенографистки — это такие яркие, накрашенные, с вызовом. А я — никто. Меня замечают последней в любом помещении. Первыми замечают других — записных балагуров, местных красавиц; начальство.

На самом деле, я и есть эти другие. Я — это тяжелые духи и перхоть на пиджаках, запах подмышек и галстуки, вечно сбитые набок. Уберите их — уберите шарканье стульев, астматический свист, внушительный бас докладчика — и меня не будет. Я оживаю только в «Собраться в расширенном составе» и «Поехали-с-орехами», в «Как известно всем присутствующим» и «Здрав буде, боярин!». Через меня слова превращаются в иероглифы и пиктограммы (которые, кстати, я сажусь расшифровывать сразу после собраний, иначе забудется контекст). Говоря высокопарно, через меня слова уходят в вечность.

На самом деле, ни в какую вечность они не уходят. Они спокойно-ненько ложатся в папки с тесемочками, а те — в шкафы из ДСП, что крошится, как опилки. Не думайте, что я — певец повседневности; что моя миссия — запечатлеть обычную жизнь обычных людей, из исчезнувшей страны развитого социализма. Не ждите, что сейчас через меня зазвучат голоса забытых и безъязыких — домашних портних, неталантливых учителей, матерей-одиночек. Маленькие люди, сами по себе — неинтересны. Почти все, мною записанное, — хлам.

К тому же, мне нельзя верить. Я — отнюдь не беспристрастный хронист. Я проспала все первые годы моей работы.

Сама не знаю, как такое возможно. При моей-то профессии. Где нужно ловить, не отключаться, быть начеку. А я...

Говорят, у эскимосов больше ста слов для обозначения снега. Снег, падающий спокойно, снег на ветру, клейкий снег и так далее. А у меня — ну, сто-не сто, но с дюжину наберется. Для этого... занятия. Я помню их все. Они и сейчас со мной.

Во-первых, есть «дымка». Прозрачная вуаль, которой, как в начале «Теней» в «Баядерке», занавешивается все происходящее. Во-вторых, есть «скольжение-соскальзывание», причем трех видов. Порой это как с горки на саночках, порой точно поймать «белую воду», надломленную часть волны, на серфборде, а порой как полет на дельтаплане с небольшой высоты, но при диагональном ветре. Затем есть «провалы-провальчики», на пару секунд. И еще «дамские обморочки»; и «военные затемнения». И страшноватый «медведь» — грузный, мохнатый и давящий.

Но и в «затемнении», и в «провальчике», и в «дымке» — я не отрывала шарика от бумаги. Я записывала все, что слышу в зале, и все, что творилось в голове.

И еще: не подумайте, что я — сонная тетеря, флегма: отнюдь. Я... делала это нарочно. Садилась за обгрызенный стол, брала ручку и — в паузу между фразами докладчика сама подталкивала себя к соскальзыванию, в сторону и вниз. И ждала, когда начнутся картинки. Путешествия. Приключения.

Зачем? Я засыпала не только от скуки, не только из-за папок с тесемками, сбитых набор галстуков, пыльных портретов на стенах. Это не было уходом, не было бегством. Там, внутри снов, была... надежда. Я... чего-то искала.

Да хватит притворяться-то! Я прекрасно знаю, чего я искала. Пора назвать вещи своими именами. Я думала тогда, что сны, вплетенные в действительность, — прямая и быстрая дорога к *необычайному*. Которого я ждала, сколько себя помню. Так что история начинается задолго до того, как я овладела навыками быстрописания. Нам нужно вернуться назад — в детство, в юность.

МОЕ ОТКРЫТИЕ НЕОБЫЧАЙНОГО

Все началось с китайцев.

В юности я вовсе не мечтала сидеть в углу и записывать всякую чушь. Я думала, что буду учиться на Восточном факультете и стану синологом — специалистом по Древнему Китаю.

Но вместо того, чтобы нанять репетиторов и готовиться к вступительным экзаменам, я представляла себе, что уже поступила. Играла в востоковеда. Пыталась читать китайскую, вьетнамскую, корейскую классику — стихи, романы, пьесы. Открывала книги и засыпала над ними; любила спать уже тогда.

Особенно забористыми были тома издательства «Восточная литература», я покупала их в «Академкниге» на Литейном. Угольно-черного цвета, на обложке иероглифы, а внутри — комментарии больше, чем самого текста. Буддийские трактаты, исторические записки; «Каталог гор и морей». Все темно, нечитаемо — как тогда говорили, «непрорублено». Кроме вот этих вот... быличек.

О быличках — русских, не китайских — я к тому времени знала. С седьмого класса, когда проходили «Бежин луг». Где крестьянские дети, вокруг костра, рассказывают истории: про встречи с домовым, с русалкой, с утопленником. «Бяша, бяша!» — говорит там баран почтальону. Я тогда же еще быличек нарыла — они были ничего, не то что сказки. Русские народные сказки я вообще терпеть не могла. Василиса Премудрая, Иван-царевич — вот это все.

А былички эти были правдивые истории о встречах с другим миром. Например, как парень поженился на баннице, девушке из бани. А полудник — кто бы это ни был — задавил молодку, заснувшую на меже. А домовый повадился ходить к вдовой женщине, и она родила моток шерсти. А покойник вернулся к свояку попросить прощения и вернуть долг. Ну, и так далее; все достоверно, случилось недавно — в таком-то году, таком-то месяце. С соседом, свекром, снохой. В ближней деревне — или в дальней, за болотами, за рекой.

Только у китайцев было все другое.

Во-первых, другой язык. В русских быличках, пусть и записанных, чувствовался говор, диалект, нелитературная речь. У китайцев же самые неприличные подробности, самые народно-комические происшествия были написаны языком изящным, точным, с отсылками к классическим текстам. Встретится порой иероглиф «низкого стиля» (переводчик морщится, в комментариях извиняется) — и вновь элегантная, рафинированная проза.

И мир китайских «быличек» был другим. Не леса и болота, а город, пригород — сложный, сложно устроенный, разноцветный. Праздники, огромные толпы народу, светильники и фейерверки, катание на лодках и представления акробатов — на таком фоне разворачивались события. «Винные башни», запахи приправ в воздухе, ночная жизнь — гуляки, гадалки, певички и иные дамы. Ночные рынки, где можно купить редких птиц, древние рукописи и шелковые платья с узорами. При свете дня, правда, купленный товар может оказаться совсем не тем, чем чудился ночью... Но и в прозаичности, в скудных красках будней — все сочно, ярко, даже с избытком; слишком остро, чересчур пряно. Так мне видится отсюда, из сегодняшней петербургской зимы. Может, я что-то перевираю, допридумываю. Но одно я помню точно: в десятом классе мир бумажных фонарей, алого шелка и изогнутых мостиков был мне ближе, родней — да что там говорить, *узнаваемей*, чем все лесные, домовые, овины и овраги вместе взятые!

Далеко не все там было узорчато-сказочным, далеко не всегда праздник с фейерверками. Герой китайских рассказов жил в мире нервном, депрессивном, тревожном. Долги, нищета, несправедные судьи, ничтожно-жалкие правители. Безысходность. Самый главный, самый чудесный сборник рассказов о необычайном был написан в темное для Китая время — страну только что захватили маньчжуры, кочевники с севера.

У автора сборника — он так и называется, «Рассказы о необычайном» — было два имени: Ляо Чжай и Пу Сунлин. И для меня это были два разных человека. Автор и его герой.

Первый из них, Ляо Чжай, знал все. Знал, чем закончится каждый рассказ — и какой смысл скрывается в развязке. О, он был великим мастером, этот Ляо Чжай.

А Пу Сунлин ничего не знал. Он был бедным студентом и в начале каждого рассказа шел в уездный центр сдавать экзамены. И не подозревал, *что* ждет его впереди.

Ну, конечно, это я так выдумала: писатель Ляо Чжай и его несчастный герой Пу Сунлин. На самом деле это два имени одного человека. Но верно и то: писатель списал своего героя с самого себя. Так же, как тот, Ляо Чжай был вечным студентом, неудачником — и умер, так и не сдав никакого экзамена.

Экзамены эти были посерьезней моих вступительных. Которые, кстати, я тоже не сдала. Правда, к тому времени я уже расхотела стать синологом и не очень расстроилась. А китайские экзамены — они были совсем другие. Это был ад. Пытка, растянутая на всю жизнь.

В Старом Китае у человека было два пути. Или ты станешь госслужащим, чиновником — или никем. Будешь выращивать рис, ловить

рыбу. Проживешь всю жизнь внизу; станешь грязью, травой. А большая жизнь — страна, история, судьба — пройдет мимо тебя. Над тобой.

Стать чиновником... В других странах, в Европе, чтобы подняться наверх, требовалось благородное происхождение, связи, иногда деньги. А в Китае надо было сдавать экзамены. Писать толкование древних текстов. Учить сами тексты, тысячи строчек, наизусть. Вроде бы прогрессивно — в теории, любой способный простолюдин мог стать министром. На деле же вся страна находилась в состоянии постоянной экзаменационной сессии. Зубрила. Готовилась.

Только мужчины, конечно. Женщины вообще не считались. Жена — это такое неграмотное, полуживотное существо, из-за маленьких ножек не умеющее ходить, не покидающее женской половины дома, покорное, бессловесное... Без груди — потому что грудь с детства стягивают бинтами. И даже чтобы жениться на такой, нужно накопить денег. А чтобы накопить денег, нужно стать чиновником. А для этого — сдать экзамены.

Пу Сунлин родился не в столице — в маленьком уездном городе. Сдавать экзамены он ездил в уездный центр. Там его ждали надутые, спесивые, злобные экзаменаторы — сами в свое время прошедшие сквозь эту мясорубку. И сейчас они «рубят» Пу Сунлина и ему подобных за малейшую помарку; даже за «недостойный внешний вид».

Если бы Пу Сунлин сдал в уезде, его бы ждали экзамены в центре округа, затем — провинции; и, наконец, в столице. С каждым разом обстановка становилась бы все напыщеннее, прибывало бы красного цвета, флагов, золота. В столице — на должность министра! — вопросы задавал бы сам император... Только Пу Сунлин и до окружного центра-то никогда не добирался. Проваливался в уезде — и возвращался домой. Готовиться к следующему туру.

Так и прошла вся жизнь: одни и те же тексты — учил и заваливал по многу раз, с перерывами в несколько лет. Под конец уже седой, голова трясется, пальцы едва держат кисточку — а все мечтает: «Вот сдам уездные, куплю себе дом, заведу семью. Буду носить особую шапку, люди узнают про меня — я перестану быть никем...». Так и не женился. Я в десятом классе придумала ему невесту — она все это время тоже ждет, стареет, надеется: «Вот выйду замуж, стану хозяйкой женской половины дома — буду подавать тапочки, варить рис; и молчать благопристойно». Но пока что ее суженому приходится зарабатывать частными уроками, готовить своих соперников — молодых, наглых, беспринципных...

А в свободное время он записывает эти истории. «Рассказы о необычайном».

Необычайное! Да, рядом с миром зубрежки, надежд, недоедания, дисциплины, с миром прямого, правильного, тоскливого и безысходного пути всегда существовал другой мир. Где живет единорог, ступающий так мягко, что ни одна травинка не шевельнется; у него разноцветная шкура, и он знает и видит всех оборотней и духов, что бродят по могилам. И сами эти бесприютные духи, вечно голодные, злые, печальные; и духи камней, оборачивающиеся юношей, и карлики с вывернутой назад ступней, и демоны без подбородка, с телом, покрытым шерстью. И восемь бессмертных даосов — один из них держит веер, воскрешающий мертвых, другой едет на чудесном муле, а третий несет в руках персики, дарующие вечную жизнь. И какие-то древние, мощные, страшные существа — драконы, повелители рек, могущие наслать наводнение или принести удачу, славу, богатство. И, разумеется, лисицы — смелые, опасные, похотливые, умные, умеющие превратиться в прекрасную женщину и заморочить человеку голову.

Заморочить человека? Вступить с ним в контакт? Ну, конечно: все эти существа отлично видят, что происходит в мире людей, они переживают, сердятся, хотят отомстить за что-то, погубить, — но и помочь, сделать человеку подарок. Порой сами ждут помощи. Наконец, влюбляются!

И вот в один прекрасный момент невидимая стенка прорывается; и происходит встреча с необычайным. Студент-неудачник видит мертвую девушку, и влюбляется, и сочетается браком прямо в могиле, — а сам думает, что это роскошный дворец. Покойный ученый приходит к коллеге и просит издать свои сочинения. Взамен он приносит напиток из страны бессмертия, где питаются росой и ветром. А охотники случайно попадают в ту самую страну, возвращаются домой — и видят своих праправнуков, потому что прошло более ста лет.

Отдельно я запомнила три истории.

Как одна девушка искупалась в чудесном источнике, сама не зная того, — и зачала ребенка от воды.

Как в уплату за службу юноше заплатили горсткой бобов, и он расстроился, а потом оказалось, что это бобы бессмертия.

И, наконец, как еще одна девушка вышла замуж за змея, обернувшегося юношей, и пошла жить в змеиную нору, где мебель и посуда — все из змеиной кожи, а она до поры до времени ничего не замечала.

И еще рассказы про лисицу — самые любимые.

Бедна, скудна, несчастна любовная жизнь героев Ляо Чжая. Порой он даже женат — на той самой бессловесной, покорной, не стоящей упоминания. Но чаще всего он только надеется стать хотя бы самым низким чиновником — и получить хоть какую-нибудь жену. И тут появляется лисица. И разом, без предварительных условий и подсчетов,

дарит человеку все — прямо и решительно, погружая его в незаслуженное и абсолютное счастье. Влюбляет его в себя, любит сама — утонченная, обольстительная красавица, прекрасный собеседник, тонко чувствующий музыку и стихи. Да, игра смертельно опасна; да, лиса может иссушить, «вынуть семя жизни» (до сих пор не понимаю до конца, что это значит). Скорей всего, она погубит — и отправится на поиски новой жертвы. Ее мотивы непонятны, темны, поступки непредсказуемы — но тем с большей радостью устремляется студент навстречу, быть может, собственной гибели!

А бывает и лис-мужчина. Это ученый — блестяще образованный, но не начетчик, не как напыщенные экзаменаторы в столице. Он видит то, что скрыто, и читает в душе человека. Беседа с ним — острое, неслыханное удовольствие, острее и ярче, чем с женщиной-лисой. Лис является к престарелому студенту в самый тяжелый час — когда понятно, что экзаменов больше не будет, что чиновником стать не удастся, что бессмысленно дальше учить древние книги. Лис приходит и остается на всю ночь. А дальше...

Знаете, что самое удивительное? Мы никогда не знаем, что было дальше. На встрече с чудесным рассказ обрывается. Что стало со студентом, выбравшимся из могилы невесты? Каким вырос ребенок, зачатый от чудесного источника? Как жили охотники вместе со своими праправнуками? Неизвестно. Неважно. Я дословно помню конец одного из рассказов: «После этой встречи студент ушел в горы, а что с ним стало дальше — никто не знает».

Вот так же внезапно кончилось и мое увлечение Востоком. Ушли из моей жизни пионовые фонари, лотосы, драконы — весь разноцветный, волшебный мир рассказов Ляо Чжая. Осталось только какое-то общее, глубинное знание — как все должно быть. Вернее, четыре. Четыре знания; четыре принципа — если хотите, «четыре благородные истины». Мои, не Гаутамы.

Первая: необычайное существует. Нет, не лисы, не даосы — другое. Я тогда еще не знала, какое. Но знала, что оно есть. Невидимое. Необычайное.

Только не надо кивать и говорить: «Да-да, конечно, существует», — я могу вцепиться в лицо. Броситься когтями со страницы, как кошка. Оно действительно существует. Рядом с вами.

Второе: *история* — единица и жизни, и рассказа о жизни. Нет никакого романа, никакого сплошного полотна. Нету биографии, судьбы. Есть нитка жемчуга, жемчужины, — а между ними нестоящее, мусор, ничто. Похоже на пульсирование света во тьме: встреча с необычайным — пустота, мрак — и новая встреча.

По крайней мере, это то, что подвластно мне. Что было подвластно Ляо Чжаю. Он не оставил историю прихода манчжуров, хроники становления их династии — он оставил много маленьких, не связанных между собой историй.

Третье: чтобы рассказать историю, не надо скороговорки, говора. Даже если вы слышали ее в таком виде. Максимум, что можно, — один-другой иероглиф «низкого стиля». В остальном язык рассказа должен быть строгим, элегантным.

Я не знаю, почему это так. Я вышла с этим знанием из моего домашнего «востфака». Рассказы о необычайном — не былички. Ляо Чжай не делал уступок народному сказу, и я не буду.

И, наконец, четвертое. Судьбы людей неважны. Участь главного героя — неинтересна. Тем не менее, быт неизбежен. От тягот, неудач, болезней, бытовых подробностей не уйти. Скорее всего, благодаря их особенному сочетанию и произошла встреча с необычайным. Свари монах рисовую, а не просынную кашу — не увидел бы студент свой сон. Не пойдя Митя в баню, а прими душ дома — не было бы у него лучшего в жизни секса. Поэтому нужно писать подробно, и про кашу, и про баню, и про остальную жизнь героя до этого.

Но на встрече с необычайным рассказ заканчивается.

Или на осознании; на прозрении.

«Оп-па! Вот откуда у меня дитя под сердцем!».

Или: «Ух ты! Все это время со мной были пилюли вечной жизни! И я теперь могу не бояться смерти!».

Или же, наконец: «А-а-а! Я же в змеином доме! И все вокруг змеиное — змеиная кровать, змеиная тарелка, а у мужа — желтый змеиный глаз!».

Но потом — пустота. Судьба героя неважна. Его большая жизнь, сама по себе. «Он ушел в горы, и что с ним было дальше — никто не знает».

Такие «четыре истины». Только в юности, после школы, я и знала, и не знала их одновременно. Их не было у меня в голове, в сформулированном виде, в словах. Они были где-то ниже, на уровне солнечного сплетения — неясные, произнесенные. В голове же была тревога, маята. Беспокойство. Я не представляла, как я выживу, чем буду зарабатывать себе на жизнь.

И уж тем более я не знала, что через ту незаметную работу, которую я в конце концов себе выбрала — но не сразу, а в далеком-далеком будущем, когда времена в стране изменятся несколько раз — я услышу все три истории. Про чудесный источник, про волшебные бобы и про змеиный дом. И несколько других. И совсем мне было невдомек, что уже тогда, в десятом классе, я все понимала правильно.

ЛИСИЦА

После школы мне было наплевать на четыре истины. Я думать не думала ни о каких рассказах — тем более рассказов от других людей, что я услышу и запишу их.

Я хотела быть лисицей.

Той самой, что приходит внезапно и дарит незаслуженное счастье. Сама выбирает мужчину, сама влюбляет его в себя. Много-много раз я представляла свое появление: в цветных шелках, с изящным зонтиком и сложной прической; смелая, бесстыдная, готовая на все и искусная во всем. Праздник и фейерверк посреди тоскливо-серого ландшафта. В своих снах я первая брала героя за руку и вводила его — «беспрекословно и решительно погружала!» — в жар любовных утех и утонченную игру интеллектуальной беседы.

Интеллектуальная беседа... Я так и не поступила ни в какой университет. Зато повезло с первым местом работы: Институт искусствознания, кафедра зарубежного искусства. Я была ужасно рада. Думала: вот я и узнаю все про мировую культуру, не только про китайцев. Научусь всем этим цветам — синим, алым, золотым. Так я видела мировое искусство: много-много разноцветных стеклышек, как витражи в соборе.

Что ж; как выяснилось потом, кое-каким витражам я там научилась. Только не так, как ожидала.

Моим руководителем на кафедре был Герман Олегович — обладатель того самого «внушительного баса докладчика», грузный мужчина с животиком и глазами хищной птицы. Абсолютно лысый. Бесцеремонный и грубый, крайне непопулярный в институте. Умница, эрудит, яростный спорщик — словом, настоящий ученый.

Так вот, этот Герман Олегович как-то разглядел меня в моем незаметном углу; выхватил своим ястребиным взглядом.

Дело вот в чем: мои протоколы на кафедре никто не читал — расшифрованные копии сразу шли в подшивку, а черновые каляки-маляки с «затемнениями» и «обморочками» — в личный архив. Но Герман Олегович, наверное, очень ценил каждое свое слово. Потому что он вычитывал все-все беловые версии. То есть после заседания я тащилась в свою каморку расшифровывать, он ждал меня, и мы весь вечер разбирали окончательный текст. И все ему не нравилось; его гениальные слова я переверала, а остроумные реплики оппонентов, наоборот, передавала излишне точно. Словом, кругом виновата. Это была пытка; чистое самодурство. Домой я уходила в полночь. И ревела у себя в туалете.

Сначала я думала, что он отыгрывается на мне за незавершенные споры; за непереубежденных противников. Но понемногу, разбор за разбором, до меня стало доходить, что ему просто нравится меня изводить. Что он нарочно это делает. Например, у меня отлично все записано, язвительные реплики коллег подчищены — не придерешься; а он все не унимается. И с записей уже переходит на меня: «Интересно, а Вы отличаете Бернини от Барромини? Или Вы думаете, что это близнецы-братья? А, может, вообще один человек — Бернини-Барромини, ха-ха-ха-ха!» Я сижу на слезах, но не плачу. Потому что ему только и хочется, чтобы я заплакала; это будет полная победа — и мое унижение. Вид интимной связи.

Когда он понимает, что так просто я не сдамся, он меняет тактику: не грубый наскок, не личный выпад, а чуть-чуть сарказма... немножко яда... ходить со мной по краю слез... Точно мы взбираемся на пустую железнодорожную платформу посреди поля и гуляем вместе, туда-сюда... туда-сюда... Но поезд не приходит; я не плачу.

И вот однажды я сижу на ученом совете. Он очень ученый, очень усыпительный, морок сплошной. Только Герману Олеговичу не скучно, и еще двум-трем товарищам, которые с ним пикируются. Остальные маются, томление разлито в воздухе, я уже пару раз проваливалась, но без картинок, неразборчиво. И вот один докладчик отчитал: вступление к биографии Диего Риверы. «Как мы видим, истоки творчества народного мексиканского художника не в академических студиях и не в парижских кафе. Они глубже — в детских впечатлениях, в очертаниях родных холмов, знакомстве с индейскими легендами и встречах с нарядно одетыми женщинами на сельских ярмарках». Герман Олегович хочет что-то возразить, но ему затыкают рот, и он сидит весь багровый, яростный. Пауза. Объявляют следующего докладчика, но тот еще не поднялся, и у меня есть несколько секунд...

...и я вижу, что Герман Олегович бочком-бочком, вытирая носовым платком шею и лысину, пробирается к выходу. И как-то напряженно и даже тревожно смотрит на меня.

И я понимаю, что нужно срочно сделать индивидуальную запись за пределами конференц-зала.

Неслышно, как тень, — мне ли не привыкать быть невидимкой! — я выскальзываю (соскальзываю!) в коридор. И направляюсь прямо в туалет; почему-то я решаю, что запись надо делать в туалете. Он очень чистый, как в зарубежных музеях. Почему музеях? — не знаю; наверное, Бернини с Борромини виноваты. Холод мрамора, ледяная вода. Позолота. И Герман Олегович уже там. Как он успел обогнать меня, он же шел сзади? Я догадываюсь, что это логика моего «соскальзывания»: он уже ждет меня, лицо потемневшее, чужое.

Кажется, я боюсь, что он на меня набросится. Но с ним что-то происходит; может быть, он все еще в мысленном споре с докладчиком — в чем корни народности? — и его распирает напряжение, оттого и лицо потемнело. Он топчется в замешательстве, что-то хочет сказать, не знает, что делать. Его сейчас разорвет. И я, к своему изумлению, опускаюсь на колени. И сама все делаю — расстегиваю; вынимаю. Коленкам, кстати, очень больно от мрамора. Герман Олегович почти готов, но не совсем. И вот мы с ним вместе трудимся, мы — он и я — вместе карабкаемся, вползаем, взбираемся на платформу, пустую железнодорожную платформу. Она называется «Твердость». Или «Уверенность». На этой платформе можно долго стоять; быть; ходить — туда-сюда, туда-сюда... Сейчас он — я это знаю — полностью зависит от нескольких влажных миллиметров своего огромного тела; он полностью в моей власти. И я, кажется, начинаю немножко мстить; зловредничать; играть. Касаюсь языком; кончиком языка; дразнюсь. Смотрю вверх, на него. Вроде бы даже спрашиваю: «Ну что такое? Что с Вами, Герман Олегович? Ничего же не происходит, а?» В настоящем туалете он, наверное, схватил бы меня за волосы, был бы грубым, но здесь, у меня, в царстве мрамора и позолоты, он какой-то... растерянный; почти беспомощный. И в то же время сильный. Гораздо сильнее, чем я думала. Словно в нем сидит зверь; крупный, хищный — медведь или еще кто — запертый в клетке. Я вижу этого зверя; я чувствую его через то, что я делаю. Он дикий и бессильный; и мечется по клетке. И я больше не дразнюсь, не упиваюсь мстью; мне почему-то нет дела до того Германа Олеговича, который меня мучил. Я... я понемножку договариваюсь с этим зверем. Чтобы он не метался и не грыз прутья. Что я его сейчас выпущу. И зверь по-своему слышит меня. Он не мечется; он ждет. И я на цыпочках подхожу и... осторожненько приподнимаю щеколду. И распахиваю клетку.

Целую вечность — я еще успеваю подумать, совсем некстати: он не спит с женой, что столько накопил? — Герман Олегович извергается мне в рот; я — ни капли на блузку! — старательно проглатываю все, в несколько приемов. Встаю и иду к раковине, умываюсь — лицо горит, щеки горят — полощу рот, закидываю мятную таблетку «Холодок»; снова в зале, включаюсь.

Начинает выступать следующий докладчик — неотличимый от предыдущего. Герман Олегович так же сидит в первом ряду, серьезный, мрачный. Я смотрю в тетрадку: все записано, даже про зверя, жену и туалет в римском стиле. Во рту вкус мятной таблетки. И коленки болят. Не отрывая ручки, сразу же вслед за закорючкой, обозначающей «Холодок», пишу: «Автор **начинает с конца, с похорон. Утром и днем ко гробу** **Диего Риверы** **приходят попрощаться** **бюджетники, министры, деятели**

учреждение культуры

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»

искусств. Но к вечеру характер, тип посетителей начинает меняться. Закрываются заводы и фабрики; к траурному залу во Дворце искусств подтягиваются рабочие в комбинезонах, изнуренные, задавленные нуждой...». Я пишу, и во всех словах и между словами — «следом крестьяне... сомбреро... индеанки... дети на руках... словно персонажи, сошедшие с его холстов...» — есть этот привкус, пробивающийся сквозь мяту. Вязкий, солоноватый, привкус слез. Одновременно противно-сладкий, грибной, осенний, гниловатый. Старческий. Откуда он? С Германом Олеговичем же ничего не было. Я не выходила из зала.

Я и потом засыпала, все годы моей работы. И в перестройку, и в девяностые, и после. Немножко проваливалась, «соскальзывала», не отрывая ручки от бумаги. Вплетала в протокольные записи обрывки видений, летучие фантазии. Приукрашивала. Но никогда больше со мной не происходило таких глубоких, таких самодостаточных, роскошных снов, как в восемьдесят третьем — восемьдесят четвертом. Таких беспомощных, провинциальных, жалких. Таких безысходных.

МОЯ ИСТОРИЯ ТАТОЧКИ НЕЛЮБИНОЙ

И я задумала побег.

К тому времени я работала уже в другом учреждении — на кафедре русского языка для иностранцев, в мединституте при огромной больнице. Больница была такая же, как в моем детстве, — на тележках алюминиевые баки с едой, по коридорам запахи, тошнотворно-бежевые стены. Да и наша кафедра была не лучше — по сути, похожа на Институт искусствознания. Тот же привкус во рту.

Разве что по ней ходили иностранцы. Из экзотических стран — Афганистана; Сирии; Конго. Друзья Советского Союза. Глядя на них, я и решила бежать. Направление было очевидно: прочь из страны.

Я подошла к побегу осторожно; хитро. Я... переместила себя в Таточку Нелюбину.

«Переместила себя» — это требует объяснений.

Я... могу быть другими. Могла уже тогда, в восемьдесят пятом.

Все началось опять-таки через мою работу, с текстов, которые я записывала за докладчиками. Еще в Институте искусствознания я заметила, что, находясь внутри текстов, я могу пересекать границы собственной личности. Могу переливаться, пересыпаться — переходить в других людей. Становиться ими.

А на кафедре русского для иностранцев я обнаружила, что могу переселяться в людей вне текста. В течение дня. Надолго.

Только не во всех. Например, в высокомерно-злую начальницу Василису — почти никогда. В принципиального парторга Кузнецову — временами. А вот в Таточку Нелюбину — почти всегда!

И я задумала совершить побег через нее. Через Таточку.

Наверное, я надеялась: если она сможет, то и я потом смогу.

Или же мне казалось: бежать надо вместе, не в одиночку. Мы убежим вместе.

Или даже нет: я была уверена, что она — это и есть я. Ее побег — это и есть мое освобождение. Мы — одно и то же.

Так или иначе, я очень тщательно все просчитала. Дождалась правильного для побега дня. Не подходящего, а именно правильного.

Но не думайте, что это был день, когда никто не проявлял к Таточке интереса. Чтобы ей незаметно улизнуть. Наоборот, она была в центре внимания.

Она сидела на собрании, где решалась ее судьба.

Собрание проходило в аудитории номер один, где до этого подготовительный факультет — рабфаковцы, как их называла про себя Таточка — слушали про Маяковского, Фадеева и Шолохова. Зала была неуютной, полупустой, нехорошей. Стены были голые и выкрашены в тот самый тошнотворно-бежевый цвет, каким выкрашена остальная больница. Батареи работали в «ослабленном режиме», и сотрудники кафедры сидели в зимней одежде. Если бы студент-новичок, только что из Африки, заглянул бы на собрание, он бы довольно заулыбался: холод лютый, свет едва горит, люди сидят в шубах и шапках-ушанках — словом, типичная Россия; вот-вот придут медведи.

А для Таточки медведи уже пришли. Причем двух разных видов, двух воюющих кланов. И она была на передовой, между двух огней.

Василиса Михайловна и Софья Леонидовна, ее заместитель, сидели во главе кафедры, прямо напротив Таточки. Они единственные сидели без шуб — холод их не брал, с холодом они были заодно. На Василисе Михайловне было безвкусное черное платье с вырезом и блестками. Фарфоровая кожа, холеные щеки, выщипанные надменные брови, злобно-тонкие губы и ухоженные руки в перстнях — настоящая начальница, кремлевская стерва тридцатых годов. Она не всегда была такой, но за шесть месяцев руководства кафедрой власть проникла в Василису Михайловну, как монстр с чужой планеты, — и преобразила ее.

У главной злодейки, недоступной в своей злой красоте, всегда есть помощник — безобразный, уродливый, мерзкий. Или помощница. Софья Леонидовна была не менее смертоносна, чем ее хозяйка — и очень,

очень толстая, похожая на гигантскую жабу. В отличие от Василисы Михайловны, Софья Леонидовна всю веселилась, шутила, астматически смеялась, одна во всем зале. Она вообще любила юмор — если до секретарской из аудиторий доносились взрывы смеха, то это было точно с ее уроков. На ней был балахон невысимо лилового цвета.

Их враги сидели сбоку от Таточки, парторг Кузнецова и ее подруга Шапулина, таточкина соперница по конкурсу. Не поворачиваясь, Таточка боковым зрением видела, как Кузнецова быстро-быстро пишет в своем блокнотике, готова внезапную атаку, хитрый вопрос, едкое замечание. Шапулина сидела оживленная, чуть не подпрыгивая, и разнообразила сухие выпады парторга эмоциональными «Как же так?», «Вы же не можете?», «Где это слыхано?».

А Таточка сидела не дыша.

Она боялась и тех, и других, но разным страхом.

Таточка проворонила распределение, и после института ей досталась только почасовка — ненадежная, непрестижная, ниже только секретарши и я. И вот теперь она сражалась (тише воды, ниже травы — сражалась, ага!) за полную ставку. Ставка в те годы означала стабильность, благополучие, покой. Ставка была на всю жизнь.

На ставку Таточку выдвинули лиловые злодеи. По двум причинам: во-первых, нельзя было дать парторгу Кузнецовой провести свою соратницу Шапулину и овладеть численным перевесом на кафедре. А во-вторых, Таточка могла бы пригодиться злодеям в будущем — вечно обязанная, никакая, послушная.

На самом деле, Таточка была вовсе не никакая. Она была... легкая. Тоненькая косточка, едва-едва грудь, пушистое облачко волос (не слушались ни расчески, ни плойки). Рот широкий, как у лягушки. Глаза в пол-лица. Веснушки. Краснела — розовела — всей кожей лица, очень мило. На кафедре появилась, точно балерина выпорхнула на сцену. И сразу же очутилась в коридорах интриг, совсем не для балерин.

Преподавала ужасно. Не готовилась к урокам — Кузнецова неоднократно ловила ее на отсутствии план-конспектов — и студенты ее на экзаменах отвечали хуже всех. Но не только из-за Таточкиной несобранности; и уж точно не из-за лени.

Дело в том, что не она учила их, а они — ее. Таточке были интересны все иностранцы, любое их слово, вещьца, книжка. Она смотрела на них восторженными глазами, в ожидании чудес. Азартно, на лету схватывала тончайшие нюансы чужой культуры: почему шииты динамичнее и более склонны к экспериментам, чем сунниты; в чем смысл положения рук в танце дервишей; какова разница между «красными» и «черными» хунвейбинами? Бросалась в библиотеки, читала запоем.

Вьетнамцы, например, познакомили Таточку с китайской классической литературой — в советском Вьетнаме она была под запретом, из-под полы, а в СССР переводилась свободно. Так, в качестве вьетнамского запретного плода, Таточка и прочитала за одну ночь тот самый сборник Ляо Чжая, «Истории о необычайном». Включая и рассказ про кашу.

На самом деле, это никакие не вьетнамцы. Это я подсунула Таточке сказку, в которой она сама в тот момент находилась. Через вьетнамцев подсунула, да.

Потому что нехорошее предчувствие ныло у меня в животе. Нехорошее знание — что наш побег обречен. Вот я и подумала: если Таточка прочитает, она не даст себе обмануться.

Или же я хотела старой детской магии: все расскажу, все назову — и оно не случится.

Сказка вот такая. Называется она «Пока варилась каша».

Бедный студент идет в столицу. Как водится, сдавать экзамен. Мечтая стать чиновником, жениться, ездить в колеснице и носить особую шапку.

И вот он устал — может, заблудился — и останавливается на ночлег в лачуге у какого-то старика.

А старик этот, оказывается, даосский волшебник. И ему уже никакая карьера не нужна, потому что он познал Дао, инь и янь.

И вот этот волшебник стелет студенту циновку, кладет особую подушку и ставит вариться кашу из желтого проса.

Дальше переход незаметный, без шва. Студент просыпается, едет на экзамены, все с блеском сдает и получает заветную шапку, пояс, колесницу. В таком виде он сватается к первой красавице столицы, из богатой семьи — и получает согласие! Они женятся. Красавица рождает ему детей — сына и дочь. Сам студент в это время исправно служит-служит-служит и дослуживается до министра. Ему дают свиту, дворец и другую, особо замысловатую шапку. Могущество, слава; величие и блеск.

Потом все идет быстро: появляются завистники, его обвиняют в растрате, он идет под суд. Жена его покидает, он остается с детьми.

Однажды ночью он с детьми идет по лесной дороге и на них нападают разбойники. Они убивают почему-то детей, и бедный студент остается один.

Теперь он ночует в канаве и питается отбросами.

Наконец, умирает.

И тут он просыпается, по-настоящему. Каша только что сварилась: в его видении прошло много лет, здесь — несколько минут. Оказывается, вся его жизнь — страсти, успехи, трагедии — была иллюзией; сном.

Потрясенный, студент уходит в горы. И больше его, конечно же, никто не видел.

Такая сказка. Таточка прочла ее вместе с остальными моими рассказами — про чудесный источник, бобы и змеиный дом — и ничего не почувствовала. Никакого предостережения. И продолжала учить студентов, идя вслед за ними в их чудесные страны. И вовсе не готовила их к тестам и экзаменам.

Наоборот — каким-то образом ей удавалось сделать иностранцев еще более иностранными. Арабы начинали писать по-русски с такими завитушками, что на стены мечети — хоть сейчас, а читать — ничего непонятно; вьетнамцы начинали говорить на совсем уже птичьем языке, загадочном для них самих. А негры потели. Больше, чем обычно. Таточка однажды призналась, что ей даже нравится запах в негритянской аудитории. С тех пор в секретарской только и шутили, что про «Таткин любимый парфюм» и «фанатку шоколада». Как-то Таточка открыла дверь на особо язвительной шутке в свой адрес — и вспыхнула знаменитым розовым цветом!

Ее главным мучителем, персональным следователем была Кузнецова, парторг кафедры и ее главный методист. На работе у Таточки было два состояния: с Кузнецовой и — расслабленное, счастливое — без нее. В преподавательской они в первые же секунды находили друг друга глазами — Таточке хотелось спрятаться, сжаться, не быть. «Доброе утро, Татьяна Павловна!» — по-особому, с подтекстом говорила Кузнецова, и Таточке явственно слышалось: «Ага, попалась!». Кузнецова видела ее насквозь — недисциплинированную, поверхностную, легко впадающую в уныние. Цепким, недобрим взглядом свекрови она смотрела и видела глубже — пустоватую мечтательность, невзрослость, страх перед жизнью.

— Милая моя, — говорила она Таточке, взяв ее за плечико, — я против Вас ничего не имею. Но... надо работать! Научиться пересиливать себя, готовиться к урокам, писать план на каждое занятие, читать книги по методике, наконец! Через два года мы пошлем Вас на повышение квалификации, и лет через пять я сама буду рекомендовать Вас на место на кафедре. А пока... Таня, Вы же умница, Вы все про себя понимаете — ну возьмите же назад документы, снимите себя с конкурса! Сделайте хоть один честный и прямой поступок. И — за уроки!

Несколько раз Таточка честно принималась писать эти окаянные план-конспекты. А потом смотрела на них глазами Кузнецовой и слышала ее голос: «Ну вот, гораздо лучше. Только надо подкорректировать здесь и вот здесь...» — и накатывала тошнота.

А Василису Михайловну, заведующую, честность не интересовала. Как ее не интересовала сама Таточка — была ли она целомудренной или распутной, неряхой или аккуратисткой, горела ли на работе или халтурила — все это было совершенно неважно. Царственно, не вставая из-за стола, уверенная в ответе, Василиса Михайловна бросала к ногам Таточки все драгоценности, все блага мира — завтрашний день, свое покровительство, помощь в написании диссертации; поездки с иностранными студентами по Союзу — ректор ей не откажет, с ректором у нее схвачено. Она смотрела на Таточку из таких зияющих высот, что та чувствовала себя ветошкой; щепочкой; ничем.

А в преподавательской, дождавшись, когда все уйдут, надвинувшись на Таточку своим необъятным телом, шептала в ухо Софья Леонидовна в лиловых одеждах:

— Татуль, никого не трогает, что у тебя студенты не учатся. На кой черт им сдался правильный русский язык? Падежи эти дурацкие... Чем хочешь с ними занимайся — главное, чтоб увлекательно было. И весело!

Таточка так и не забрала документы. Всю неделю до кафедры ее лихорадило — то она лежала пластом, то ревела в туалете, то была спокойна и собрана, только ничего вокруг не понимала. А то впадала в эйфорию — фантазировала, что ее проведут на ставку и она научится преподавать, будет писать тошнотворные планы к каждому уроку, заслужит уважение и подружится с Кузнецовой, и все будет хорошо. Сейчас ее бил озноб — внутренний, не из-за батарей в «ослабленном режиме». И хотелось, чтобы поскорее кончилось, все равно как. Временами ей казалось, что ее зарыли в мерзлую землю, по шеню, и она не может пошевелить ни мизинцем. Несколько раз она порывалась встать и выйти, наружу, насовсем — и не могла.

После собрания она пришла домой поздно, потому что шла до дому пешком, по ледяным ленинградским улицам.

Каждый раз на этом месте — переход незаметный, без шва! — у меня что-то замирает внутри. Я знаю, что это: надежда. Что на этот раз все получится.

Ночью Таточка не спала ни минуты — так, резиновым молотком, билось сердце. Всю ночь думала. И наутро голова была холодная и ясная. Три следующих дня Таточка на автопилоте провела положенные уроки; а на четвертый подала — к немалому удивлению заведующей — заявление об увольнении. И вышла из дверей кафедры, чтобы никогда туда не возвращаться.

Всё! Теперь ее не остановить. И пусть будет, что будет. Как в песне. «Лети, мой ангел, лети!».

Год у нее не было работы, она лежала в депрессии, только спала, ела и смотрела телевизор. Думала, что потолстеет, но еще больше похудела. Потом соседка предложила ей за небольшие деньги гулять с группой детей-одногодок.

Как оказалось, Таточка соскучилась по работе. Она гуляла по соседним дворам и про каждый двор придумывала истории. Их собственный двор был арабским халифатом, здесь были пустыня, оазисы, миражи, верблюды; а тот, следующий, был Китаем, где император отращивал длинные ногти и надевал на них футлярики. А дальний двор был Африкой, где хищники прятались в сельве. Таточка точно не знала, что это за сельва, а визжащим от восторга детям было все равно.

И вот у одного из мальчиков был старший брат, и у них заболела учительница, и некому было сопровождать их в поездку по Золотому Кольцу — Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский. Взяли Татку.

В этой поездке она открыла для себя русскую Африку; а также Индию, Персию и Китай. По стенам соборов гуляли львы, грифоны и совсем невиданные звери, чьи хвосты проросли цветами. Диковинными, нерусскими были и Суздаль, и Владимир, но самым волшебным был Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — построенный до монголов, покрытый резьбой, как ковром. Там, среди резьбы, был слоник с заячьими ушами — запрятанный, сразу не найдешь. И было поверье — кто его найдет без подсказки, может загадывать желание. Таточка нашла.

Ее стали брать в поездки со школьниками — Ярославль, Киев, Баку. Теперь Таточка готовилась к каждой поездке — через школу покупала альбомы, читала в библиотеке, составляла задания. В школе ей стали давать уроки перед поездкой, а также по возвращении: сочинения, фотоальбомы, доклады. Ее стали приглашать в другие школы.

Но только когда открылись границы — и появились частные школы и родители с деньгами — Таточка отшлифовала искусство поездки. Нашла свой жанр — бегство из России, поиски иного. Путешествия!

Сначала нужно было заболеть страной. Читать путеводители, книги по истории, слушать музыку. Песни нужно брать старые, 50-х–70-х годов, именно тогда пели самые любимые, самые народные артисты. Книжки по истории надо выбирать увлекательные, сухая академичность ни к чему, никто проверять не будет. Еще учить язык, хотя бы простейшие фразы и цифры. Вглядываться в репродукции, мечтать, как увидишь все вживую. Мечтать о национальной кухне — как будешь сидеть с детьми в кафе и ресторанах.

Да, с детьми; без них никак. Потому что надо куда-то сбрасывать, сливать все то, что переполняет. Чтобы восторг, как электрический разряд, шел в кого-то дальше.

Конечно, они будут тайком курить. И пить какую-нибудь гадость (тихонько проследить, чтобы пили что-нибудь характерное, национальное). Конечно, некоторым все эти соборы и гробницы будут до лампочки. Но всегда будут другие, избранные, которые загорятся одним с Таткой пламенем — их хватит, чтобы занялась вся группа.

И потом, вернувшись, в школе — осмысление. Статьи; сочинения; эссе; чтения и обсуждения. И ничего, что косноязычным школьным языком, ничего, что приходишь в ужас: «Это я такими словами им рассказывала?!». Потому что у самой в это время уже зреет следующий замысел, следующая страна, следующая вершина.

Это был триумф. Точно, как в сказке: от экзаменов — к женитьбе, от чиновника — к министру. Таточка шла от победы к победе.

Первым был взят Константинополь — он же Стамбул. Увидели Святую Софию; узрели небо в ее невесомом, нерукотворном куполе. Пили турецкий чай — крепкий, как кофе, горький и сладкий одновременно. Гуляли по модному проспекту Истикляль, смотрели на европейских турчанок — не в балахонах с головы до ног, а с открытыми плечами-головами, в юбочках-кофточках.

Так преодолелась провинциальность; так, через Византию и Стамбул, вышли из темного угла, из русского гетто, в мир.

Затем был Рим. Легко, точно балерина в прыжке, Таточка перепрыгнула вековые разногласия Восточной и Западной церквей. Ученики — за ней. Прямо в водоворот римского барокко — неудобного, тревожного, победительного. В круговерть мрамора, золота, капителей, лошадей, спиралей, извивов, отчаянья, безумия, восторга. Чтобы потом сидеть на ступеньках Испанской лестницы в полном расслаблении — и одновременно в состоянии физического и духовного экстаза.

Так преодолели отрыв от Европы. Так вернулись в цивилизацию.

Дальше был Египет. Начинали медленно, осторожно. Первые пять дней лежали на пляже, плавали с маской, разглядывали морских чудовищ. А потом рванули в Луксор.

Три Долины Мертвых лежали перед ними — Долина Знати, Долина Цариц и самая далекая Долина Царей. Каменная, без растительности равнина в складках и дырах, похожих на лисьи норы.

Только это были не лисьи норы. Это были гробницы.

Цепочкой, рука за руку, шли ребята с Таточкой по узким коридорам. Цепочкой, плечи развернуты, головы в профиль, глаза в фас, шли похоронные процессии по стенам гробниц — переезжали в новый дом. Один за другим, Таточка всегда впереди, пробирались в последнюю, запечатанную комнату, ранее недоступную для живых. По бокамплыли ладьи, коровы тянули салазки, женщины заламывали руки, слуги

несли саркофаг. И живые, и мертвые, и ученики, и древние египтяне шли в последнюю залу, где к усопшему, умащенному и забальзамированному, ласково прикоснулся Анубис, бог с головой шакала. Трогал за плечо. И, рука в руку, вел его к Осирису, последнему судье.

Кое-кому становилось плохо, из-за духоты или из-за чего-то еще. А иные хотели остаться в гробницах наподольше. Толя Ягодкин так вообще говорил, что здесь ему уютнее, чем дома. Но Таточка торопила — дальше, дальше, вглубь страны, «где так ценят молчание».

Так пересекли границу между двумя мирами, между живыми и мертвыми. Так преодолели страх смерти.

Наверное, уже в Египте стало ясно: происходит что-то не то.

Затем была Франция, мушкетеры и замки. Затем Норвегия и викинги. Затем арабская Испания, нега и роскошь. Затем, по контрасту, должна была быть Голландия.

Это случилось в самом начале голландского проекта; Таточка была дома, составляла список тем: протестантская этика, рождение капитализма. Предстояло преодолеть социалистическое прошлое, научиться свободному рынку. И вдруг поймала себя на мысли: «Ну, это несложно». То есть развернутая мысль была такая: «Можно не напрягаться. Пожалеть себя. Сделать малой кровью. Я почти подготовилась, все знаю и представляю. Сложно не будет.» И через эту мысль, расширяя и ломая стенки узенького капилляра, на Таточку обрушилась апатия; лень; самое страшное — скука. Все ее последние поездки предстали в истинном свете: не разноцветные и искрящиеся, а однообразные, механистические: подготовка — поездка — обсуждение; подготовка — поездка — выводы.

А главное, после каждой поездки по-настоящему ничего не происходило; гора не рождала даже мышь. Ни дети, ни Таточка не достигали ничего из того, к чему они летели, стремились при подготовке. Только гадкое послевкусие: ну вот, опять обманули. Мы даже поверхности не зацепили. Очередная страна осталась сама по себе — в глубине, в стороне. Таточка это давно поняла, тайно от себя. Поэтому с облегчением и подумала: «Ну, дальше будет несложно. Можно не напрягаться».

И тогда Таточка отменила... Вы думаете, все поездки? — нет, только ни в чем не повинную Голландию. И дала себе год на подготовку самого большого, самого амбициозного проекта. В самую далекую страну — даже не буду ее называть. А задачей было — стереть границу между воображаемым и реальным!

Снова, как в начале, захлестнул азарт. О том, что она будет делать после поездки, Таточка не думала. Потому что власть уже будет принадлежать воображению.

Год пролетел — не заметила. Едва все успела. Во-первых, найти и уговорить детей и родителей; потому что дорого, далеко и рискованно. Во-вторых, поработать над испанским и подступиться к тому, древнему языку. Наконец, научиться читать рисунки и рельефы: сначала все кажется сплошным орнаментом, каменным ковром, а потом начинаешь различать руки и жесты, скипетры и змеинные головы, где маска, а где живой ягуар, где кончается лицо, а где начинается головной убор. Где человек, а где божество.

А с детьми в этот раз занималась не очень много; дети как-то ее меньше интересовали.

Когда улетали, был мороз; и снегу навалило — в городе ходили по узким коридорам между сугробов. В аэропорту отдали провожавшим родителям шубы, дубленки, зимнюю обувь — в поездке не пригодятся. И через сутки высадились — легкие, усталые, свободные — в духоту сельвы.

Да, сельвы; оказывается, сельва не в Африке, а здесь — вот он, самый последний Таточкин двор! Задрав хвосты, группками бегали носухи со смешным хоботком. Распустив поверх влажной, жирной почвы свои корни, точно подпорки готического собора, уходила ввысь сейба, сырное дерево с голым стволом. Лениво переваливались с ветки на ветку обезьяны-ревуны — ночью и по утрам они кричали, по словам одного ученика, «как лев, провалившийся в канализацию». А еще прыткие обезьяны-пауки; а еще дивно раскрашенные индейки, а еще красно-желтые попугаи. И пирамиды.

На самом деле, это были не пирамиды. Это и было воображение у власти.

К ним было невозможно подготовиться — ни по фотографиям, ни по видео. В первый раз они сшибали с ног. И не только в первый — всякий раз, когда Таточка выходила на площадь перед главным храмом, у нее перехватывало дыхание. Храм уходил ввысь одним рывком каменной громады — бесцельный, нелепый, ужасный. И если бы только он! Дворцы, площадки для игры в мяч, стелы, плиты были разбросаны по всему лесу — очищенные от деревьев и заросшие, на виду и в зарослях, везде. В первый же день Таточка облазила весь лес. И понеслась по окрестностям.

В нее словно что-то вселилось. В шортиках и в майке, не боящаяся ни змей, ни малярийных комаров (дети же только и делали, что пшикали на себя из баллончиков), легконогая, она то и дело оставляла детей с классной надзирательницей — в лагере, где угодно — и совершала быстрые, хищные рейды по джунглям. Вначале только сумерки останавливали ее. Потом она стала уходить и по ночам. Ее приво-

дили в лагерь усатые полицейские с автоматами — ноги исцарапаны, глаза горят, рожа счастливая.

Я не могла ее остановить. Только беспомощно наблюдала, как Татка мчится к концу.

Никакие запреты были ей не указ. Как ящерица, карабкалась она по лестницам и стенам — надо было прочесть камни ладонями, ступнями, животом. Где находила иероглифы и фигуры, обводила их пальчиком, узнавала, произносила вслух: Кукуль-кан, Пернатый Змей! Иш Чель, Госпожа Радуги! А чаще не узнавала, фантазировала: Огненный Попугай! Владычица Пчел! Ах-Кинчил, Бог-Ягуар! Однажды видела живого ягуара, самку с детьми, переходящую ночью шоссе. Она и сама все больше походила на зверя — на дикую кошку, на обезьяну-паука.

Передвигалась рывками: то застывала на склоне, на вершине храма, как в молитве, как в медитации — то летела с пирамиды на дерево, с дерева — на землю; рывок — застыла... пробежка — пауза... Точно в танце. Точно балерина.

С самого начала, уже на второй день, надзирательница заподозрила неладное. А потом и дети. Таточка ничего не ела в столовой; прямо посреди экскурсии ее могло вырвать чем-то зеленым; скулы заострились, под глазами чернели круги. Ее начали сторониться; по ночам дети хихикали, что она собирает в лесу грибы и ест. Все мечтали: скорей бы конец.

Потом она стала путать имена детей. А также их количество; все искала какого-то Толю Ягодкина, говорила, что он остался в подземной гробнице.

А бывали и просветления; и надежда, что все будет хорошо. Утром девятого дня долго и интересно рассказывала про сейбу, дерево-храм: что корни ее в подземном мире, а вершина уходит в мир небесный, и на вершине сидит божественная птица, и души умерших поднимаются или спускаются по ее стволу. Затем вышли на центральную площадь, и Таточка объявила, что сейчас покажет, как надо подходить к главному храму: задрал голову, не спуская глаз с гребня на вершине и неба. Сделала два шага, постояла, словно собираясь с мыслями, — и упала. Встать уже не смогла.

Начиная с переезда в больницу звенящая прозрачность в голове у Таточки сменилась густым туманом. Надзирательница не отходила от нее ни на шаг, прямо-таки вцепилась в плечо и в руку. Ехали по огромному городу, вдоль дороги тянулись трубы, выкрашенные в невиданный фиолетовый цвет. И коробки домов почти без окон — два-три на стену — были фиолетовыми. Цвет был откуда-то знаком, но откуда — непонятно.

Около дверей госпиталя сидели местные, с вывороченными наизнанку пятнистыми лицами, закутанные в синие, багровые, лиловые одежды.

Наверное, у них не было денег, чтобы лечиться. Или болезни их были так ужасны, что их не пустили внутрь. Или просто больница была не для местных.

Впрочем, все в порядке: Таточка была не местная, важный иностранный гость, руководитель группы. Ее обязательно примут и вылечат.

Нет, не совсем в порядке: внутри больницы почему-то оказалось знакомо, как в детстве, когда лежала с фурункулезом. Бледно-бежевые стены, кушетки по бокам; на кушетках сидели больные с посетителями, негромко переговаривались. На стенах висели плакаты с болезнями и портреты сотрудников. Каталки, тележки с кастрюлями. Врача долго не было, но как раз это Таточку не беспокоило; она откуда-то знала, что время теперь не важно. Беспокоило другое: почему больница у майя точно такая же, как в далеком Советском Союзе?

Поставили градусник — тоже из детства, ртутный, бьющийся. Пришел врач, в нечистом белом халате, в нагрудном кармане карандаш. Смотрел горло деревянной дощечкой, которую потом выбросил в ведро. Происходило что-то нехорошее; не только с американской поездкой. Все предыдущие путешествия — их как раз Таточка ясно помнила: Италия, Турция, Египет, Юрьев-Польской — словно бы скручивались листом бумаги, сворачивались в трубочку.

Врач вернулся с группой, по-видимому, студентов. Или практикантов. Говорили вместе, разом — может быть, даже на русском. Или не на русском? Но не на испанском. Слов не разобрать.

По возбужденным, тревожным интонациям Таточка догадалась, что точного диагноза не поставлено, и приблизительного тоже. Это была новая, неизвестная болезнь. Или, наоборот, очень старая, из древности; Таточка заразилась ею в сельве, когда выкрикивала имена богов. Каких богов? Сейчас Таточка не помнила ни одного имени.

Наверное, из-за неопределенности диагноза практиканты не уходили из палаты — они решили остаться, пока не выяснится, что за болезнь. Вдобавок Таточку зачем-то посадили, и от неподвижного сидения болела поясница. Еще в палате было холодно — особенно мерзли ноги. Которые почему-то были в зимних ботинках.

Теперь практиканты точно говорили по-русски; Таточка разбирала отдельные слова: «обморок»; «не слышит»; «сделаем перерыв». Настырная надзирательница все трогала Таточку за плечо: «Милая моя, Вы же умница, Вы можете — давайте, Таня, соображайте!». На Таточке откуда-то был пуховик — она еще слабо удивилась: зимнюю одежду ведь отдали в аэропорту; откуда она здесь? И другие женщины в палате были в шубах и дубленках... В шубах и дубленках...

Только двое не были одеты по-зимнему. Холод был им нипочем. На Василисе Михайловне по-прежнему было безвкусное платье с вырезом и блестками. И она смотрела на Таточку, как всегда — недружелюбно, холодно, из зияющих высот. Только сейчас во взгляде ее появилась издевка; ехидное такое выражение. То есть Таточка по-прежнему была тряпочкой и ветошкой, но за это время с ней произошло что-то забавное. Смешное. Потом усмешка из глаз исчезла, словно кто-то смахнул ее, и голосом серьезным и даже резким Василиса Михайловна спросила:

— Ну что, продолжаем?

И в этот момент внутри Таточки беззвучно взорвалось осознание.

Она никуда не уходила! Она все так же сидит на заседании кафедры, где решается ее судьба! И все, что с ней произошло, — слоник с заячьими ушами в Юрьев-Польском, предстояние перед Деисусом в Святой Софии, экстаз Святой Терезы в Риме — это все не считается! Не считаются гробницы в Долине Мертвых, не считаются иероглифы майя — как бы хорошо она не выучила их, они не будут считаться! Римское золото и мрамор, турецкий чай, рыбы в Красном море, жалость к самой себе, отчаянье, сухие слезы — все взлетело в воздух, кружилось, бессмысленное, как щепочки, как пыль. Это безмолвный взрыв был тем нестерпимее, что Таточка по-прежнему не могла пошевелиться, по-прежнему была зарыта в мерзлую землю, по шею. И выбор перед ней был тот же самый — выбор без надежды, между плохим и плохим. За это время, за секунды Таточкиного обморока, ничего не произошло. Не изменилось. Все преподаватели, в куртках и шубах, сидели не шевелясь, тоже словно зарытые в мерзлую землю. Только на заднем ряду одна не то старушка, не то девочка — с вечно открытым ртом, как при аденоидах — с треском сломала ручку, которой писала все это время. И больше писать было нечем.

Я любила эту историю. Наверное, люблю до сих пор. Потому что за все время — и в восьмидесятые, и в девяностые, когда в самом деле открыли границы, и в двухтысячные — я много раз возвращалась к ней. Добавляла красок, уточняла детали; тасовала страны. Но как бы я ни старалась, как бы ни летала, вместе с Таточкой, по лианам и пирамидам — все заканчивалось одним и тем же: Таточка просыпалась закоченелая, на ненавистном заседании кафедры, перед невозможным выбором. Я проигрывала каждый раз.

Да: и я понятия не имею, что потом случилось с настоящей Таточкой. Чем закончилось ее заседание — провели ли ее на ставку «на всю жизнь» или оставили на почасовке, корпеть над планами и работать над собой. Да и какая разница? Вскоре начались 90-е, и все это стало неважно.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. В ПРЕДДВЕРИИ НЕОБЫЧАЙНОГО.....	5
Часть вторая. ВЕСЁЛЫЕ МИЗИНГЕРЫ	31
Часть третья. ВОЛШЕБНЫЙ ИСТОЧНИК	47
Часть четвертая. ВОЛШЕБНЫЕ БОБЫ	93
Часть пятая. ПОЭЗИЯ	161
Часть шестая. ЗМЕИНЫЙ ДОМ	265
Малый эпилог.....	317
Эпилог большой.....	319
И последнее.....	325

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГР РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49